

Евгений ЧЕКАНОВ

## ОТЕЦ ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ

*Повесть, написанная в 1993 году*

**Вы умерли: казалось – вы никому не нужны. И вот, когда вы забыты всем миром и, так сказать, испытываете пустыню небытия, около вашей могилы начинает копаться какая-то любящая рука – разбирает надпись на могильной плите, поправляет землю и иногда воткнет цветок: вы вдруг среди ледяного небытия согреваетесь человеческою теплотой, и для вас начинается еще вторая, удивительно интимная и милая жизнь. Грустно, что операции этой подвергаются только писатели: следовало бы каждому человеку иметь для себя подобного копуна.**

**Василий Розанов**

Ночь – хоть глаз коли. Но по тихому плеску воды под ногами, по влажной свежести воздуха я безошибочно определяю: это река. Большая река, медленно текущая во тьме неизвестно откуда и неизвестно куда.

Неподалеку, вверху, одиноко светится оранжевый квадратик окошка. Там, на высоком незримом берегу, – дом, тепло, свет, люди. А мне надо плыть...

Шаткий плотик из нескольких бревен, перехваченных железными скобами, готов к путешествию: в моих руках – длинная жердь, я упираюсь ею в дно... ну, поехали? Но резкий толчок вдруг сотрясает плот, бревна подо мною начинают гулять, ходить ходуном – это кто-то неуклюжий и грузный прыгает ко мне с берега и, шумно дыша, устраивается за моей спиной. Кого еще принесло? Мне и одному-то еле-еле хватает тут места...

Это – отец. На плече у него длиннющий рыбацкий намет, браконьерская снасть времен моего детства. С помощью этой штуки мы налавливали, бывало, по ночам целые ведра плотвы и подлещиков. Ну, папа «в своем амплу» – без инструмента шагу не ступит...

С трудом подавив раздражение, я осторожно отправляю в путь погрузившийся в воду плот. Удержит ли он двоих? Вода плещет и холодит ноги; вверху и вокруг – огромный, непроглядный купол ночного космоса...

Что это за река? Жизнь? История? Судьба? Душа? Куда и зачем я должен плыть? Почему мой плотик так шаток? Почему в моих снах так часто царит тьма?

Скоро отец *отяжелит* мою жизнь. Видимо, так я должен был понять его появление в моем сне – первое появление за долгие годы. И ведь мог понять, мог! То, что сон необычен, я смутно сознавал уже там, во сне. С первых же мгновений, – хотя *там* не было ни мгновений, ни лет, не было времени, – я испытывал удивительное, ранее незнакомое мне ощущение какой-то сверхдостоверности происходящего. Это ощущение трудно передать словами, но я помню, что оно было сильным и острым: я знал, что эта ночь, эта река, этот плот – настоящие, а всё остальное... об остальном мне ничего не было известно. Это было ощущение полноты и окончательности бытия: всё то, что существовало бы кроме этой ночи и этой реки, было бы лишним, нарушало бы целостность мира...

Уже проснувшись, я некоторое время продолжал жить этим ощущением, – и тут же, включив свет, на первом попавшемся клочке бумаги записал корявыми буквами содержание сна, на память о странном видении.

Но то, что оно было вещим, я тогда не понял.

А вдруг я не разгадал его и сейчас? Вдруг мой сон предвещал мне не только то, что через два месяца мой отец умрет от сердечного приступа? Вдруг это ночное путешествие по неведомой реке сулит что-то еще – неразгаданное, тайное, темное?

Почему на плоту больше никого нет – ни моей матери, ни брата, ни других близких? Почему светящееся окошко так высоко, так недостижимо? Почему отец прыгнул на плот перед самым отплытием? Что во всем этом – судьбоносно, а что – случайно?

Только прожив до конца отпущенные мне годы, я смогу, быть может, как-то ответить на эти вопросы. Но что толку в пророчестве, которое нельзя разгадать до его исполнения? И вот что еще тревожит меня: зачем отец взял с собой эту запретную, незаконную снасть? Неужто без нее – никак?

---

Всё течет и меняется? Нет! – всё стоит на своем месте, ожидая или провожая нас. Всё: любовь, жизнь, смерть. Каждый грядущий день – уже есть, нужно только дожить до него; каждый минувший – там, где мы его оставили. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, сказал древний мудрец, но уже то, что он назвал эту реку по имени – Одна и Та же – говорит о том, что в самом существовании ее он не сомневался. Она есть, эта река, и течет в тех же берегах, и вода ее так же обжигает, как и тогда, когда мы вступили в нее впервые. Всё остается на своем месте, ничто не прошло и ничто не грядет, – всё, кроме нас...

Где-то там, вдали, до сих пор стоят те погожие, тихие дни, в дремотной череде которых есть один, пронизанный всё тем же ласковым, с желтизной, солнцем. Это солнце зависло над крышами того же села, – Глебово на Волге, близ Рыбинска, – и его теплый покойный свет обливает те же избы, те же проулки и луговины, погруженные в ту же тишину, в то же сосредоточенное созерцание. Изредка прочистит горло петух, лениво брехнет пёс, гроыхнет в соседских снях ведро – и вновь неколебимое спокойствие владеет миром. Идет субботний вечер 23 мая 1992 года.

В такие вечера трудиться во дворе – одно удовольствие. Вот и мой отец не спешит в избу, а ладит теплицу на огороде, забивая кувалдой в землю железные трубы – остов будущего сооружения. Маме, готовящей ужин, слышны сквозь оконное стекло папины сопение и побряхтывание, сопровождающие каждый удар по трубе; впрочем, удары не столь уж часты, а нередко смолкают и вовсе – и вместо них до матери доносятся то залихватистый хохот отца, балагуриющего с соседом, то громкие матюги, означающие, что речь пошла о политике.

Мама то и дело заглядывает в спальню, отгороженную от кухни легкой переборкой, и с улыбкой наблюдает из окна за копошащейся в огороде фигурой, облаченной в ватные штаны, фуфайку и валенки с калошами. В последние дни у отца участились приступы, грудная жаба «жмет» его, и постоянный догляд за ним необходим: как бы чего не вышло. Сегодня он, впрочем, чувствует себя неплохо: раз треплется с соседом – значит, «поотпустило». Судя по всему, строительство теплицы продвинется вперед.

Теплица – прихоть матери; а в общем-то, весь огород уже обихожен. Несмотря на возраст и болезни, мои родители и этой весной обошлись без сыновней, то бишь без моей и Андрюхиной, помощи: за апрель отец на тачке развез по огороду гору компоста, лопатой перекопал весь участок, вместе с матерью они посеяли и посадили всё, что было запланировано. Теперь можно было бы и чуток отдохнуть, но папу вдруг обуяла жажда деятельности – все последние дни он только и делает, что пилит, строгаёт, красит, приколачивает. Мать, впрочем, это поощряет, ибо любит, «чтобы всё делалось».

Солнце медленно наливается густо-малиновым соком. Через час-полтора наступит время ужина, затем – телевизор, а там пора уж и на боковую. Быт моих родителей вот уже года два-три довольно однообразен, чему причиной папины болезни. Если бы нашего сивку не укатали крутые горки, – стенокардия и отложение солей, – он, без сомнения, уже ускакал бы отсюда, и прекрасный дом номер 15 по улице Новой давно бы уже принадлежал другому владельцу.

Нет худа без добра. Еще один переезд унес бы столько сил и здоровья, что и подумать страшно. А главное, было бы очень жаль этого дома – крепкого и просторного. Недорого купленный на окраине Рыбинска несколько лет тому назад, он был с помощью маминой родни аккуратно разобран, перевезен в Глебово, подновлен и собран вновь; теперь в нем можно жить без заботы лет двадцать, если не все пятьдесят. «Своё – и никому ни под шапочку!» – говорит отец горделиво. Но тут же заводит привычную песню: «Но вечно жить тут я всё равно не буду, мамка! Уеду к чертовой матери!»

Что ж, уехал бы, не задолбил... ведь для людей переезд – пожар, а для нашего Феликса Михайловича – праздник.

Всю жизнь мои родители ездят с места на место, без видимых причин покидая каждые пять-семь лет обжитые углы. Поначалу матери такая жизнь казалась дикой, но постепенно она смирилась с ролью нитки, всюду следующей за иголкой. Что гнало папу? кто гнал? Проще всего было бы сослаться на его неуживчивый характер, но это не отвечает на вопрос, ибо сразу же возникает другой: а откуда взялся такой характер? Оставим покамест эти вопросы стоять – слишком много у меня вариантов ответа...

Если бы отец не был болен, он уже наверняка объявил бы повсеместно о продаже дома и с удовольствием предался приятнейшей процедуре знакомства с покупателями, обсуждения цены, условий, сроков и всего прочего, сопутствующего продажам и покупкам. Нечто сладостное, призывно будоражащее таится для него в жуткой для оседлого человека ситуации переезда, прощания с прежней жизнью, знакомства с новой. Надо видеть, с каким увлечением он в тысячный раз изучает с карандашом в руке карту Ярославской области, открывая на ней всё новые и новые райские уголки, не тронутые цивилизацией, надо слышать, как он кричит матери:

- Нина! А Наумово-то – на самой железной дороге стоит! Видать по всему – славно местечко! И река недалеко, и до райцентра рукой подать. Надо тебе в город прошвырнуться – села и поехала! Нет, это Наумово мне определенно нравится. Вот бы куда махнуть, а? Нина, ты слышишь?

Цивилизацию папа ненавидит. Из всех ее благ он положительно воспринимает только телевизор; к телефону же и газовой плите до сих пор относится недоверчиво. Более же всего он не любит городских людей – чванистых и жуликоватых. Единственный недолгий опыт житья в большом городе, – в Ярославле, – закончился для него плачевно: продав с порядочным убытком половину дома, купленную за год до того, папа с проклятием рванул назад, в милые его сердцу деревенские просторы...

Большой город насилует его душу! И даже тело: обычный проезд в городском автобусе был для моего отца мучением. Толкотня, потные спины, острые локти, необходимость приобретать и компостировать какие-то талоны, – всё это угнетало папу; он предпочитал отмахать пешком любую дорогу, нежели ездить в городском транспорте, этом исчадии ада...

...и длится субботний вечер 23 мая, и всё ниже и багровой раскаленный небесный шар, – и вот уже из проулка, покачиваясь, выходит молодой глебовский алкаш Валерка Семенов, изрядно «принявший на грудь».

- Ну, что, Эдмундович, ковыряешься? – бормочет он, подходя поближе.

Папа не любит этого человека, а пуще того не любит, когда подсмеиваются над именем, данным шестьдесят два года тому назад моим политически грамотным дедом. Это имя уже давно стало проклятием отцовской жизни: его всё время перевирают, переделывают,

используют для дурацких шуточек – вместо счастья оно приносит одни неприятности. Всю жизнь папа пеняет деду: «Ну, назвал бы ты меня лучше Федей, что тебе стоило!», всю жизнь мечтает назваться как-нибудь иначе – но взяться за эту проблему всерьез ему всё как-то недосуг, да и предполагаемой бюрократической возни с переименованием он боится как огня.

Послав молодого Семенова «на три буквы», мой отец поворачивается к нему спиной и начинает что есть силы колотить полупудовой кувалдой по трубе...

Всё время ловлю себя на мысли: а может быть, это происходило не так? не совсем так? Нет, матери я, конечно, верю, но есть в этой истории один момент, который меня мучает: мать не видела своими глазами, что случилось между Семеновым и отцом, она только пересказала мне версию Семенова.

А вдруг он ударил отца? Я знаю, что это не так; но – а вдруг? Что мне делать тогда? Мне надо убить Семенова, которого я в жизни никогда не видал.

Но ведь мне не убить...

Или убью?

Последние несколько лет папа не расстается с нитроглицерином, пробирочка с крохотными белыми таблетками и в этот момент лежит в кармане ватных брюк, но на этот раз грудная жаба опережает. Стальной лапой она сжимает старое сердце, отец хватается за карман, бросает кувалду и опускается на теплую рыжеватую землю у фасада дома номер 15 по улице Новой.

Мать, выглянувшая через пару минут в окно, видит Семенова сидящим в огороде и держащим голову отца на своих коленях.

- Эдмундович, ты чё? А, Эдмундович? – гудит Семенов.

Отец лежит как неживой. Мать опрומетью выскакивает на улицу.

Он лежит на спине, с таким выражением лица, какое всегда появляется у него во время приступов: жалобно приоткрыв рот, он словно силится втянуть в себя воздух.

Трясущимися руками мать сыплет ему в рот нитроглицерин из пробирочки, но отец не делает ни одного глотательного движения. Таблетки белеют во рту.

Мать поднимает шум, сбегаются соседи. Кто-то уже нащупывает пульс у лежащего неподвижно человека, кто-то бежит за врачом. «Всё делается»...

- Что же ты молчал, – кричит на Семенова мать, еще не верящая в самое страшное, – что же ты не орал, не звал народ?

- А я чё, – бормочет тот. – Он схватился за карман, да и упал. Я думал, он пьяный.

- Да разве ты не знал, что он больной, паразит ты эдакий?

- Не, – мотаает Семенов головой, – не знал. Я думал – пьяный.

Наконец, приходит медсестра, молоденькая девица, начинает делать отцу уколы. Все ждут, что будет дальше.

- Надо что-то делать, – рыдает мать, – надо что-то делать! Может, вы ответственности боитесь, так я всю ответственность беру на себя. Давайте сделаем ему искусственное дыхание. Давайте, кто-нибудь, а?

Сосед Саша соглашается – и начинает ритмично надавливать на грудную клетку отца: раз-два, раз-два... Медсестра через платочек дуёт отцу в рот. Отец лежит в той же позе. Медсестра начинает измерять ему давление. Давление падает. Пульс становится всё слабее и совсем прекращается.

Дребезжит телефон. Только что вернувшийся из поездки по своим торговым делам, уставший как собака, плохо спавший последнюю ночь, я, кряхтя, встаю с дивана. Плачущий голос в трубке сообщает о смерти моего старого приятеля, местного краеведа Юрия Нестерова. Приглашают на похороны – и я, пособолезновав, обещаю непременно быть. Возвращаясь на свой диван, планирую в уме очередность дел на день погребения покойного,

радушного старика, в хлебосольном доме которого мною со товарищи было в свое время выпито изрядное количество горячительных напитков.

«Свалился, старый, – думаю я, – а ведь в последнее время приободрился, кажись, даже по городу разгуливал... Сердце, сердце... Касьянов год... Что ж, все там будем. Надо будет придти, помочь Галине Николаевне...»

Через полчаса телефон снова трещит – и какой-то вахтер из какого-то райкома профсоюзов трубным голосом уведомляет меня, что несколько часов тому назад скончался мой отец.

...и вот уже я, соскочив с еле ползущего ленинградского поезда на безлюдной ночной станции Кобостово, зябким стремительным шагом иду, то и дело срываясь на бег и спотыкаясь о корни деревьев, по не видимой в темноте тропинке. Нет попутчиков на пути через лес, две высоких дремучих стены стискивают дорогу с обеих сторон, кто-то злобно шипит и трещит сучьями в черных кустах – и я отпугиваю этого «кого-то» резкими выхлопами японского зонтика.

Папа, папа, может, всё это – неправда, дурацкая ошибка?

Четыре километра позади, я вхожу в темное беззвучное село, поднимаюсь из оврага на горку, сворачиваю направо. Вот он, родительский дом. Окна темны и спокойны, но окошко баньки светится.

«Она его моет, – с ужасом думаю я. – Одна моет...»

...полураздетая, в старом белом лифчике, стоя на коленях и тихо подвывая, льет из алюминиевого ковшика теплую воду на скользкое, блестящее под голой электрической лампочкой плечо, – и гладит, гладит это плечо, втайне надеясь, что сейчас мой отец, любитель глупых шуток, поднимет безжизненную руку, отстранит ковшик, со стоном оторвет большое белое тело от струганной лавки, бурча тоном обиженного ребенка: «Да ну тебя, мамка! Что ты на меня всё воду эту льешь?» – и можно будет еще на несколько месяцев, – а может быть, и лет, – отодвинуть от себя неотвратимую жуть грядущего одиночества...

В черном платке и черном свитере, худенькая и маленькая, мать сидит на кухне, тихо беседуя с соседкой. Она с плачем обнимает меня, и я убеждаюсь, что непоправимое – случилось. Соседка, облегченно вздохнув, уходит домой; я снимаю в сенцах ботинки, иду на веранду и, наконец зарыдав, обнимаю еще не остывшее тело папы.

Одутловатое, нездоровое лицо, впалый беззубый рот, морщинистые мешки под глазами, серебристо-пепельный чубчик. Этот человек дал мне жизнь, талант, гордыню, умение понимать красоту, помог мне встать на ноги в чудовищном мире людей, научил жить стиснув зубы, одерживать победы и бросать завоеванное псу под хвост. Больше он меня ничему не научит.

Папа, папа, милый мой, добрый, взбалмошный человек, куда же ты?

- Он улыбается, – говорит мать. – Смотри, он улыбается – ему нравится, что ты приехал.

- Я раньше всех приехал, – сквозь рыдание отвечаю я, – раньше Андрюхи, я через лес бежал...

Руки и ноги отца связаны бечевкой, он лежит на раздвинутом столе, одетый в новый дешевый костюм и ненадеванную клетчатую рубашку; на ногах – нелепые дырчатые сандалии.

Я вою, как в детстве, кривя рот и размазывая слезы, – от великой обиды на жизнь и на Бога.

- Папа, папа, милый мой, хороший папа... – вою я, целуя и глядя покойника.

Мать оставляет меня наедине с отцом – и то, что я говорю в эти минуты, о чем прошу его, в чем клянусь, слышит только он.

Закрыв лицо отца простыней, возвращаюсь на кухню. Мать собирает ужин, рассказывая, как всё случилось, коря себя за недогадливость, за то, что поздно выглянула в окно, не так насыпала таблеток...

- Ведь никакой тревоги в этот день у меня не было! – восклицает она, испуганно глядя на меня. – Наоборот: тихо, спокойно, весело было на душе. Видно, так уж *надо* было... С утра он Коле Баруздину колунице тесал, потом с мужиками в огороде хахалился, у меня и думки не было, что так выйдет. Отвело меня, отвело... Господи, как же я теперь буду? Феликс, Феликс! Всё-то ты, матушка, успел, всё приделал – кур отгородил, картошку мы посадили...

Она плачет и вытирает платочком покрасневшие нос и глаза.

- Сразу, – говорю я, слыша в тоне своего голоса оттенок какого-то злобного торжества, – без проволочек, без этих больниц... Раз!.. – и там... Резко, папа, резко. Одним ударом, наотмашь!

- Да, не завалился, – всхлипывает мать. – Люди-то вон годами лежат, под себя ходят. Горшок им носят, с ложечки кормят... Не-ет, Феликс Михайлович так не мог... Феликс, да что же ты наделал?

- Ну, не плачь, не плачь, – бодрюсь я. – Всё равно он здесь жить не собирался. Помнишь? – он хотел всё продать и уехать... Вот и уехал! Никого не отяготил, не озаботил, собрался в одночасье – и махнул! Помнишь, он пел: «Старость меня дома хрен застанет!..»

Мать то плачет, то рассказывает, то снова плачет. Я успокаиваю ее, хлебаю подогретый на электроплитке суп, листаю какие-то журналы, что-то говорю. Снова идем к покойному. Стоя в изголовье, гладим папу, разговариваем с ним и о нем.

- Душа-то его сейчас здесь, – замечает мать, всхлипывая. – Тут она: летает, смотрит на нас... Феликс-Феликс, что ты наделал, а?

Тянется ночь, длится наш разговор, не смея оборваться и оставить нас, – каждого по отдельности, – с не осмысленной как следует новостью. Да, ни я, ни мать еще не осознаем вполне нашу утрату – отец где-то здесь, рядом с нами: вот его таблетки и склянки на лавке, вот брюки и фуфайка, вот тут, на своем любимом месте, у дверного косяка он сидел бы сейчас. Мы слышим эхо его слов, видим мир, не успевший умереть вместе с ним. Папа – здесь, а там, на ночной веранде, – лишь остывающий слепок его.

Утро. Пока не встала мать, я иду к отцу. Он такой же, как и вчера – неподвижный и тихий. За окнами веранды – зеленые листья, солнечные зайчики, яркая голубизна неба. Если бы не труп, я подумал бы, что отец где-нибудь поблизости, – кормит кур в сарайке или возится в мастерской. Но труп, тихий и неподвижный, лежит рядом – и тяжелая волна горя, родившись где-то в низу живота, внезапно дыбится во мне, перехватывая горло и выдавливая слезы. Папа – умер.

Мой папа умер!..

Мать собирает на стол. Скоро придут соседки, будет ясность относительно гроба. Деньги у нас есть, могли бы и купить, но не ехать же в Рыбинск за гробом... Соседки обещали матери решить эту проблему: есть какой-то местный столяр, который, якобы, сможет сделать гроб из своего материала. Если же этот вариант отпадет, то обещал помочь Коля Баруздин, сосед, папин приятель. Самому мне – не по силам: ни столярного, ни плотницкого ремесла я от отца не унаследовал. Доску, конечно, я обстрогаю и шерхебель от рубанка отличу – но и только. «Безрукий».

Все телеграммы мать дала еще вчера. Андрюха, мой младший брат, возможно, припахан тещей на даче и поэтому может получить печальное известие лишь сегодня к вечеру – значит, его приезда можно ждать не раньше завтрашнего дня. Родственники матери (с отцовскими мы не знаем, не ведаем даже, где они живут) придут, наверное, прямо на похороны. Похороны – послезавтра.

В ожидании завтрака листаю попавшуюся под руку книжку югославских врачей «Стенокардия». Лежит она тут явно не зря: отец интересовался своей болезнью.

«Как писал философ Сенека в письме к Луцилию, приступ этой болезни подобен грозе...»

---

Впервые такой приступ случился с ним лет семь тому назад – когда дом номер 15 по улице Новой, ставший свидетелем его предсмертной муки, высился еще на Скомороховой Горе, в Рыбинске, – а родители мои жили на казенной квартире, выделенной Глебовской санаторно-лесной школой. Точнее говоря, в бывших слесарных мастерских этой школы, приспособленных под жильё для воспитателей. Это была половина дома (за стенкой жили соседи) с печкой, сарайкой, двумя сотками земли под окном и роскошным видом из этого окна на величавый простор Волги, как раз в этом месте, под Глебовом, вытекающей из безбрежной холодной ямы Рыбинского моря. По этому-то простору, намертво схваченному январской стужей, по белой метельной речной долине медленно двигалась в тот давний день, семь лет назад, маленькая темная фигурка отца, провожаемая из окошка взглядом матери, – той, вынь да положь, потребовалась тогда чистая прорубь для полоскания невесть откуда берущегося (они с папой уже давно остались вдвоем) белья...

Выбрав подходящее место чуть ли не посередине реки, отец расчистил валенками снег и, высоко подняв тяжелый лом-пешню, что есть силы ударил по темному зеркалу. И еще раз. И еще...

Словно молния врезалась ему в грудь! Бросив лом, он упал лицом в снег, выпучив глаза и открыв рот, с ужасом осознавая, что эта боль – не чета прежним: угрюмая, тяжкая, смертная боль.

Медленно-медленно, тихо-тихо, слушая свое дыхание, встал он через полчаса с колен, держа обеими руками, как минёр, свое ржавое сердце, – и побрел назад, ставя ноги в уже наполовину заметенные сухой снежной крупкой следы...

...папа, я бреду за тобой назад, я ставлю свои ноги в твои следы, я хочу узнать, какая это была боль, какая жизнь...

Но смогу ли я узнать истину? Быть может, мне откроется лишь внешняя цепь событий – документальная ложь, правдоподобный бред. Стены, отделяющие «сегодня» от «вчера», высоки и дремучи, даже ближние кусты полны злобного шипенья и треска, и нет попутчиков на темном пути в прошлое.

Сокрыто и «завтра». Один-единственный раз мелькнул вещей огонек на высоком берегу неведомой реки, один только раз вздрогнул, закачался и ушел под воду шаткий плот моей судьбы – была возможность задуматься, обеспокоиться и хотя бы попытаться что-то изменить в неотвратимом течении жизни. Но нет: я, страшно мнительный и суеверный человек, не сумел не только истолковать пророческое видение, но даже и понять, что оно – пророческое.

Отвел Господь! А ведь, может статься, истолкуй я сон правильно и предупреди столь же суеверную мать, надоумь ее не спускать глаз с человека, лежащего теперь на веранде со связанными руками и ногами, – и всё случилось бы иначе, не так, не теперь...

Но я только очнулся с колотящимся сердцем, включил свет, нашел карандаш, накарябал на листке бумаги несколько рваных предложений и, оттолкнувшись шестом от берега, поплыл куда-то по медленной темной реке на погрузившемся в воду ненадежном плотике.

А маме был сон еще раньше – за три с лишним месяца до случившегося. В ночь на 14 февраля ей привиделась Дивная гора – селение под Угличем, где без малого сорок лет тому назад она, учительница тамошней восьмилетки, совсем молоденькая, но уже имеющая опыт и преподавания, и самостоятельного существования вдали от родителей, уже пережившая

первое серьезное чувство (Петр Иванович Мельников, сын полковника авиации, ты помнишь Нину Ковалькову?) испытала острый приступ сострадания к полужнакомому, в общем-то, парню, Феликсу Чеканову, только что ставшему инвалидом...

- Хрен ли встал?.. давай!.. – заорал Васька Галактионов.

Мой будущий отец, только что «резнувший» вслед за напарником еще полстакана водки, мрачно покосился в Васькину сторону, но ничего не ответил. Взяв из груды неокромленных досок верхнюю, он поставил ее торцом к бешено завывающему ножу циркулярной пилы и толкнул «на ход». Заверещав еще пронзительнее, темное солнце ножа стало медленно отваливать кромку доски, отец же двинулся помаленьку вперед, следом за доской, прижимая ее сверху ладонью правой руки.

Ваське, принимавшему доску с другой стороны, захотелось ускорить этот процесс. Он дернул доску на себя – и папина рука пошла под нож.

Опьяненное сознание все-таки сработало: в самый последний момент отец почувствовал неладное и отдернул руку. Но его пальцы уже летели и прыгали по трясущейся доске, словно городки, поднятые на воздух ударом биты. Васькин слюнявый рот изумленно открывался, истошно кричала пила, жизнь поворачивалась к Феликсу Чеканову неведомой прежде стороной.

Боли и крови не было. Он посмотрел на обезображенную руку, – большой и указательный пальцы отсутствовали, средний был разбит, – и громко, с оттенком какого-то злобного торжества, прокомментировал:

- Ну, всё – калека!..

- Я пожалела его... ой, как я, дура, его жалела! Ведь он пил страшно, валялся, где попало, со своей перевязанной рукой. А в школе-то как меня отговаривали: Ковалькова, опомнись, посмотри, в какую семью ты идешь...

...вот они, на старенькой фотографии с засвеченным краем, – мои мама и папа. Юные, улыбающиеся, глупые, еще не сказавшие друг другу тех слов, после которых в душах двух людей начинает медленно гаснуть серебристый вибрирующий звук – голос свободы, знак возможности всё переиграть, свернуть в сторону с открывающегося пути... О, тончайшее пение серебряной струны!.. о свободная воля!.. о, невозможность уйти от неизбежного!..

Веселые кудряшки мамы, светлая блузка, темная юбка, корзинка с грибами. Небрежная поза отца, залихватски нахлобученная черная шляпа, забинтованная кульпяпка, лежащая на цевье одностволки. Нет, это еще не мои мама и папа, это просто двое молодых русских людей в середине 50-х годов двадцатого столетия от Рождества Христова. Они улыбаются, они позируют – а Нина Баранова всё щелкает и щелкает затвором своего «Зенита», всё хохочет и подмигивает подружке, уже начинающей сердиться на такое бесцеремонное подчеркивание ее чувства.

Чувства жалости...

...ей привиделось то место на Дивной Горе, тот склон маленькой речки, где они, бывало, сиживали вдвоем, устав собирать грибы. Лето, начинающее желтеть, тонкий, еле слышимый звон серебряной струны, – всё то же самое. Вот только они с папой – уже немолодые, пожившие, теперешние. И внизу, поодаль, в траве лежит дитя – плотно запеленутый ребенок. Оттуда, из белых младенческих одежд, доносится до матери ясный печальный голос:

- Вы расстанетесь...

- Мы знаем, что мы расстанемся, – отвечает мать. – Но и вы расстанетесь...

На этом видение обрывается, и мать просыпается в своей постели, в доме номер пятнадцать по улице Новой – шестидесятилетняя, мучимая болезнями и предчувствиями. И долго слушает жалобный вой февральского ветра, изредка прерываемый тяжелыми всхрапываниями мужа, спящего на соседней кровати. И долго гадает, к чему бы такой сон.



И не догадывается.

- Теперь я думаю, – говорит она неуверенно, глядя на меня голубоватыми выцветшими лепестками, – что это была ваша Олечка. Или сестра Феликса, Галя. Это они умерли во младенчестве. Которая-то из них предупредила меня. А я, дура, не поняла. Это, наверное, была твоя Олечка...

Олечка?

Окно больничной палаты. Белый беспомощный силуэт моей жены. Отчаяние в родных глазах. Маленький – не больше метра – гробик у меня под мышкой. Небольшая грудка карминно-красного месива на столе патолого-анатомического отделения...

Да, мы тоже расстались...

Или это была другая маленькая девочка? стоящая на подгибающихся годовалых ножках посреди распухшего от голода сорок третьего года, обмотанная тряпьем, зареванная, замурзанная, тянущая исхудалые маленькие ручки к пустой материнской груди, – Галя, умершая во младенчестве сестренка моего папы, Галя Чеканова...

Господи, я знаю: Ты упокоил их невинные душеньки, поселил их навечно в зеленом саду, среди птиц и цветов... Иначе – Тебя нет!

Нет!..

Мама не сумела разгадать ни этот свой сон, ни другой, тоже пророческий. За неделю до смерти папы она почему-то несколько дней подряд вспоминала председателя сельсовета с Дивной Горы, Александру Павловну Волохонову, доброго и справедливого человека, – и ей приснился сын Александры Павловны, Володя. Приснился таким, каким мама его помнила по Дивной Горе, – двадцатилетним, только что вернувшимся из армии. Он сказал ей:

- Еще два-три дня...

На этом сон-мгновение оборвался – и мама, проснувшись, истолковала его так: Александра Павловна тяжело больна и до конца ей осталось совсем немного. «Боже, облегчи ее последние страдания», – мысленно попросила она.

Но сон предвещал иное...

...но почему же все-таки именно Дивная Гора вспоминалась ей в эти дни? – именно то место, где они впервые встретились с папой. Неужели перед концом чего-то память всегда возвращает нас к началу?

---

Наскоро завтракаем. Я с беспокойством начинаю осознавать, что времени – в обрез, а у нас нет ни гроба, ни досок для него, ни обивочного материала, ни, самое главное, – мастера. А что, если соседи не смогут помочь? На дворе – теплынь...

- Мама, не вздует у нас его? покойника-то...

- Не должно бы, – неуверенно отвечает мать. – Там, на веранде, прохладно. И марганцовки мы с Тamarой под стол поставили. Говорят, еще соль на живот кладут. Давай-ка, насыплем в мешочек...

Входят соседки: врач Тамара Борисовна, учителя и воспитатели санаторно-лесной школы Люба, Вера, Галина Яковлевна. В разговоре всё становится на свои места. Оказывается, дядя Миша, лучший местный мастер, обещал всё сделать – вот только бы он сумел вовремя «отойти от вчерашнего». Ну, а уж ежели он не проспится – тогда за дело возьмется Баруздин. Красного сатина для обивки гроба тоже обещали дать – правда, с возвратом, но и то хорошо, ведь в магазине ничего подходящего нет. Могилу будут рыть четверо – Сергей Вахромеев, тот

же Баруздин и еще двое местных мужиков. Венки соорудят сами соседки, из лапника. Директриса местного продмага обещала продать на поминки водки по старой цене и чего-нибудь к столу.

«Господи, люди, дай вам Бог здоровья, какие же вы все хорошие, – растроганно думаю я, – Все-таки, деревня – не город, не эти скоты, всюду видящие только одно – выгоду...»

...заплаканный, всклокоченный, очумевший от страшного известия, бегу я по своей городской улице по направлению к вокзалу. До отхода ленинградского поезда остаются считанные минуты, даже бегом я не успеваю.

Голосую. Визг тормозов.

- Ребята, – задыхаясь, прошу я, – несчастье у меня. К вокзалу, а?

Ребята медлят. Их двое – молодые, спортивные, современные. В салоне звучит ритмичная музыка, в такт ей на цепочке покачивается пластмассовый чёртик. Выждав, ребята меланхолически осведомляются:

- Сколько?

Спустя секунду мы мчимся к вокзалу: цены мне известны, деньги у меня есть...

«Сколько»? Тысячу лет в геенне огненной, тысячу тысяч лет, – покуда ваши шкуры не станут тоньше настолько, что смогут чувствовать чужую боль.

Вот сколько!

Конечно, тут, в деревне, не всё так уж благостно – и здесь хватает всякого, в том числе корыстного, жестокого, злого. Но, при всем том, деревенские люди – другие. Что-то заставляет их, – Любу, Веру, Тамару Борисовну, Галину Яковлевну, их мужей, владелицу сатина, директора магазина и еще добрый десяток незнакомых мне мужчин и женщин, – не остаться безучастными к нашей беде, не оставить нас наедине с нашим горем. Традиции? Далеко заглядывающий практицизм? Наверное, не без этого. Но важен результат: эти люди – другие.

Я не призываю разрушить город. Но я ощущаю потребность констатировать факт.

---

Дяди Миша «не отошел» – и Коля Баруздин, крепыш лет сорока, принимается за дело сам. Он приносит со своего подворья в папину мастерскую несколько досок, мы опиливаем их по размеру, и Коля тут же берется за рубанок. Вскоре в мастерскую заглядывает другой сосед, седой и суховатый Юрий Федорович из дома напротив, – и предлагает кромить и фуговать доски в его мастерской, на более мощном станке.

«Всё делается»... Я, само собой, на подхвате, подай-принеси. Суечусь, стремясь, по возможности, избавить мастеров от черновой работы. Часа через два в дверях появляются первые родственники – брат мамы Володя и муж ее покойной сестры, Саша Волгин. Поздоровавшись и постояв в проеме, они тихонько уходят, а мы продолжаем сооружать гроб.

Баруздин строгают так истово, что весь наливается кровью. Самый близкий сосед (дом его стоит через дорогу), он был здесь, в Глебово, одним из самых близких отцу людей, частенько захаживал к папе в мастерскую, они часами могли беседовать о житье-бытье, о политике. Папа нуждался во внимательном собеседнике, а Коля за интересным разговором перенимал еще и кой-какие хитрости столярного ремесла. Имел место и прямой «бартер»: Баруздины иногда снабжали моих родителей мясом по сходной цене, а папа сделал им прекрасные наличники и, кроме того, украсил фронтон соседского дома такими же удивительными деревянными птицами, какие глядели на прохожих из-под крыши его собственного...

...птицы – отцовская любовь. Он знал их по именам, он отыскивал в книгах их цветные изображения и сравнивал с теми, что прилетали под окно.

- Смотри-смотри, – кричал он матери, – вот это синичка-гаичка! Видишь? Гаичка!

Он рисовал птиц цветными карандашами в альбоме, писал маслом на фанерках, выпиливал лобзиком. Он сам был птица – бойкая, любопытная, интересующаяся всем на свете, любящая перелетать с места на место, птица-путешественница.

Но вот какая птица?

Как ни горько мне это осознавать, но – не щегол, не снегирь; скорее всего – ворона. Да, ворона – бедно одетая, крикливая обитательница свалок и помоек. Ведь именно она сидела на зеленых ветках той березы, в роще у деревни Ивановское, наблюдая за нашей печальной трапезой у свежерытой ямы...

Но эта ворона была не такая, как все!.. под смиренным своим одеянием она таила жемчужно-пестрый, переливчато-ослепительный мир, она была чужой в черно-серой стае товаров, она глядела со своей помойки не в сторону другой помойки, а прямо в голубые небеса!..

День клонится к вечеру; гроб, наконец-то, закончен – и мы несем его на веранду, примерить. Получился тесноват – тело отца еле-еле умещается в нем. Но это еще полбеды; беда – мелка крышка. Сооружая ее, мы не учли, что руки покойного, сложенные на животе, своими кистями образуют холмик, и что этот холмик – окостенеет. Если бы руки лежали вдоль тела, крышка легла бы в самый аккурат, а так – мелка. А ведь, вроде бы, перед началом работы всё измеряли, прикидывали. Век живи – век учись...

Что же теперь делать? Сгоряча я беру лежащую сверху отцовскую руку (смертный холод ощущается уже и через рубашку) и с силой тяну, пытаюсь развалить холмик плоти. Не тут-то было!.. рука лежит на том же месте, не подвинувшись ни на миллиметр. Тяну сильнее – напрасно...

...мертвец сильнее меня!

...он и живой был сильнее. Я никогда не дерзал схватиться с ним всерьез – папа изломал бы меня. Ничего удивительного: он много работал физически, мускулы у него были литые. А я... что ж, тщедушный домосед, книжный червь...

Вот почему у меня рождаются одни только дочки – дабы приять силу *со стороны*. Наша родовая сила уже истощилась.

По крайней мере – во мне.

Крышку гроба приходится наставлять, на это уходит еще часа полтора. Наконец, обив гроб изнутри белой материей, а снаружи – красной, Баруздин с Юрием Федоровичем удовлетворенно отправляются по домам. Я наклеиваю на наружную сторону крышки вырезанный из черной фотобумаги православный крест, выношу ее на улицу и прислоняю стоя к углу дома. Теперь издали видно, что в доме – покойник. Таков обычай.

Слава Богу и спасибо добрым людям – проблема с гробом отпала.

Ни Юрий Федорович, ни Коля не взяли за работу ни копейки денег. Мы с мамой, конечно, и не предлагали, боясь обидеть. Но я точно знаю – они бы не взяли. Ведь это не город. Это, слава Богу, русская деревня...

---

Снова – утро... Идем с мамой по цветущему майскому селу, среди чистой зелени и веселых, сияющих на солнце изб, переходим из проулка в проулок, спускаемся в глубокий овраг, перебираемся по дощатому мостику через ручей, поднимаемся по крутому склону. Это

уже не Глебово, а Ивановское (практически сросшееся с Глебовом, но сохранившее отдельное название). Где-то здесь живет смотрительница кладбища, она должна показать нам место для рытья могилы. Маме примерно объяснили, где ее дом, но точно она не знает.

На улице – ни души, спросить не у кого. В растерянности стоим мы на пыльной дороге под горячим солнцем; затем мать нерешительно указывает на один из домов: кажется, тут... Я подхожу к калитке, дергаю за ручку – заперто изнутри. Кричать хозяевам? Неудобно... Иду к другому дому – та же история. Что же нам делать? Третий дом. Открываю калитку – и тут же прыгаю назад: по дорожке прямо на меня молча мчится здоровенный пёс-волкодав... Ничего себе, шуточки!

- Вам Нину Александровну? – кричат с огорода хозяева пса. – Это не сюда, а во-он в ту избу! Вы не бойтесь, там собаки нету...

На слабых ногах иду прочь, мать следует за мной.

- Как ты испугался-то, – говорит она удивленно, – побелел аж весь...

У «той избы», где живет смотрительница, бродит маленький мужичок лет тридцати, с пробивающейся кой-где бороденкой и выражением явного слабоумия на круглом лице. Увидев нас, он уклончиво улыбается и подмигивает; встретив прямой взгляд, косится в сторону. Я приглядываюсь к нему – и второй раз за сегодняшний день по моей спине пробегает холодок: дурачок чем-то неуловимо напоминает папу.

Да-да, те же очертания носа и губ... но главное – в прищуре глаз, в манере морщить лицо... Господи, что это? Кто это?

Во двор выходит ветхая старушка – и долго выпрашивает нас, кто мы такие и откуда. Удостоверившись, что всё в порядке, берет с завалинки падожок и кличет мужичка:

- Женька, пошли!

И опять я внутренне ахаю: его зовут так же, как и меня... А старушку – так же, как и мою мать... Что всё это означает? Неужели могут быть такие совпадения?... а может быть, это какой-то знак мне, какое-то знамение? Но какое? К добру или к худу?

Увлеченный этими мыслями, бреду я позади всех, рассеянно прислушиваясь к разговору матери и смотрительницы. «Женька» – взрослый сын Нины Александровны, еще мальцом ребятишки бросили его в воду, с тех пор он не в себе. Пенсию она получает мизерную, живет тем, что дает свое хозяйство, да вот добрые люди помогают... («Мы вам дадим денег, дадим», – вставляет мама). Земля на этом кладбище хорошая, легкая, лежать будет хорошо, а копать надо на полтора метра, не больше. Места свободного много, в разных углах можно подобрать что-то подходящее, в последнее время хоронят частенько, всем надо угодить, всех проводить, показать, а уж годы не те, восемьдесят с лишком, но пока что Бог милует...

...певучий голос старухи обволакивает, с яркого неба брызжет огонь, сморщенное лицо моего отца улыбается, подмигивает мне, – и дикие, древние мысли гуляют в моей голове.

- Папа, это... ты?

Он кивает, он подмигивает, он насмешливо косится на двух старух, идущих впереди: вот дурочки, ничего не понимают... но мы с тобой понимаем, верно? Только ты им не говори, будем знать это только ты да я, хорошо? Всё не так просто в этом мире, все совпадения не случайны, Женька, хорошо, что ты узнал меня. А эти-то... хе-хе-хе... они-то думают... ой, не могу, хе-хе-хе... но молчок, Женька, молчок!.. пусть об этом никто не знает...

И снова он косится в сторону, снова отводит взгляд, и снова оборачивается – смеющийся, щурящийся от яркого солнца...

Я кладу на себя крестное знамение – и страшным усилием воли стряхиваю морок. Ничего особенного не происходит. Двое женщин и двое мужчин идут по дороге к деревенскому кладбищу, светит солнце, жизнь продолжается, идиот хихикает...

...и огромные радужные круги плывут, медленно расползаясь, в его мозгу, и солнце, пробившее толщу воды, слепит судорожно выпученные глаза, и нечем дышать – и откуда-то издалека, с планеты Земля, доносятся испуганно-веселые крики мальчишек...

Вот здесь будет твое место, папа. Не в мерзкой загородной тесноте, среди ошетилившихся оград, под ядовитыми тучами, – нет!.. на высоком берегу великой русской реки, под всё еще голубым небом, в звенящей зеленой роще, у подножия белой березы. Птицы, любимые создания твои, будут свистать над тобой, легкие сухие ящерики будут греться на солнышке рядом с твоим холмиком, комары – звенеть... всё кругом будет жить. И скоростное шоссе останется в стороне.

И никогда не взойдет над тобой проклятая пятиконечная звезда.

«Да брось ты, Женька, – слышу я его голос, – какая разница, звезда ли, крест ли... Не верю я в эти символы. Я Пушкину верю:

*И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть  
И равнодушная природа  
Красою вечною сиять!*

Вот вся правда, Женька, а больше ни хрена нету...»

---

После обеда идем с матерью за продуктами для поминок. Черный платок действует безотказно: мать всюду пропускают без очереди. Продавщица ведет нас в подсобку, мы берем мясной фарш, хлеб, водку, конфеты, расплачиваемся и благодарим. Провожаемые шепотком и взглядами баб, выходим на улицу.

Мать удовлетворена: всё идет как надо, в грязь лицом она не ударит. Горе – горем, а дело – делом. Эта черта – «ковальковская»; Чекановы – люди прямо противоположные. Нам – вмазать стакана два, рыдать и петь песни...

Впрочем, я преувеличиваю, конечно, столь резко отделяя ментальность представителей отцовской ветви моего рода от склада ума и души моих предков по материнской линии, явно утрирую, называя первых неисправимыми фантазерами, а вторых – сухими рационалистами. Такое деление, конечно же, условно, ибо опирается на произвольно сохраненные памятью эпизоды, а не на весь объем действительно происшедших в жизни событий.

И все-таки основа для такого произвола существует... Иногда я думаю, что причина этих отличий может быть такой: Чекановы, в отличие от Ковальковых, уже прошли стадию «рацио», стадию «умения делать жизнь», им интересна уже следующая ступень – «отражение», то есть, «изображение» жизни. Они желают быть художниками, а не просто обывать свой крест...

Появляется мой брат Андрей. Он, как всегда, замкнут, углублен в себя. Побывав на веранде, возвращается точно таким же, каким входил туда; видимо, всё, что должно было произойти в его душе, уже произошло.

Известие о смерти папы застало его, как я и предполагал, на даче у тещи: сестра его жены принесла телеграмму прямо в поле...

День длится. Помогаем матери по хозяйству, обсуждаем план похорон. И всё время вслух вспоминаем папу – его поступки, слова, привычки. От этого нам как-то легче, извинительней перед покойным.

Волгина и Володи Ковалькова нет с нами – они, как выяснилось, были здесь с оказией: из Рыбинска в Глебово ехал какой-то знакомый Волгина, он и прихватил обоих. Заглянув в дом и убедившись, что мать уже не одна, они уехали обратно, посулив явиться прямо на

похороны. Волгин, правда, обещал прибыть пораньше, привезти самогону и свежих огурцов с рынка.

То и дело забегают соседки. Одна говорит, что принесет яичек, другая – сметаны, третья даст на время поминок скамейки, стулья и посуду (ожидается человек тридцать, а мамина наличная утварь не рассчитана на такое многолюдье). Каждая соседка, заходя, считает своим долгом сказать что-то доброе о покойном, вновь пожалеть о безвременном его уходе, припомнить и повторить запомнившиеся ей его слова. Всё это – очень искренне, никакой фальши не чувствуется.

Все-таки, папа, при всей его импульсивности и непредсказуемости, был в целом очень дружелюбным, открытым, добрым человеком. И это очень облегчает нам теперь его похороны: все идут нам навстречу и всё у нас получается...

...или это он сам, хорошо зная, что всё новое поначалу представляется нам неразрешимой проблемой, взялся «оттуда» руководить и этим, – печальным, но необходимым, – делом?

Не знаю, как оценивает себя Андрюха, а я вот смотрю на себя так: в сравнении с отцом, я – сущая бестолочь. Папа знал плотницкое и столярное ремесло, рубил избы, слесарил, профессионально фотографировал, неплохо рисовал, писал маслом – даже стихи пописывал! – а я из всего этого умею делать более-менее хорошо только последнее. Ну, еще умею править чужие тексты и редактировать газеты – но разве это профессия? Кому это нужно?

Если бы мой отец, упаси Бог, попал однажды в тюрьму – он бы и там не пропал; а что стало бы в таком случае со мной? Страшно и помыслить...

Распространено мнение, что все дети считают себя умнее и талантливее отцов. Ничего подобного!.. я уверен в обратном. Мой отец просто не осуществился, не реализовал своих потенциалов. Если бы он получил хотя бы мое, – никудашнее, провинциальное (в дурном смысле этого слова) образование, если бы имел мое (сытое, обутое, одетое) детство в *полной* семье – кто знает, каких высот он достиг бы...

Конечно, ему недоставало терпения и усидчивости. Но это фамильное: дед, Михаил Андреевич, был таким же – горячо брался за любое новое ремесло, осваивал его начатки, но никогда не доводил до совершенства, быстро остывал, бросал начатое на полдороге. Однажды, в молодости, он решил научиться плести корзины. Изучил основные приемы, начал даже конструировать новые модели, но до ума дело так и не довел. В результате на чердаке избы скопилась, согласно семейному преданию, целая гора недоплетенных корзин...

Эти «недоплетенные корзины» – символ наших натур. Это – сами мы, Чекановы!..

...любопытно, что другой мой дед, отец мамы, Александр Иванович Ковальков, был как раз профессионалом-плетущечником. Плел корзины на заказ, на продажу, плел тысячами.

Ковальковы вообще склонны к постоянному, кропотливому труду – и на самую жизнь смотрят как на такой труд. У Чекановых же другой идеал: придти, увидеть, победить! Чекановы – изощрены, тонки, разносторонни. Ковальковы – проще, уже, но зато – надежней, тверже.

В общем, полная противоположность...

Возможно, мои родители, представители этих двух родов, ощущали подсознательно свою «неполноту» – и стремились устранить ее путем соития с носителем противоположной тенденции. Не знаю, воплотилась ли «золотая середина» в Андрюхе, но во мне-то уж точно нет. Во мне победили «Чекановы».

И моя натура, осознающая собственную ущербность, продолжила поиск: проходя через боль, через страдание, через трагедию, я искал еще более твердый и надежный корень.

Нашел ли я его? Об этом пусть судят мои потомки...

---

Весь вечер накануне дня похорон я перебираю папины бумаги. Немногочисленная переписка с властями, справки, рецепты. Рисунки пером в тонких ученических тетрадках. Чертежи наличников. наброски стихов... Всё то, на что я раньше обращал внимание разве что из любопытства, сейчас пронизано особым светом – смерть осветила и освятила всё. При жизни отца я непременно посмеялся бы вслух над орфографией его сочинений, над огрехами пунктуации, – теперь же я думаю о том, что для человека с семью классами за плечами и это – достижение; раньше, прочитав его стихи, я усмехнулся бы: «графомания, газетчина», – теперь я молчу.

Да, это – любительство, да – слепки с чужого... да, да, да... Но это писал мой папа!.. Мой папа, который позавчера умер и больше никогда ничего не напишет.

*Как жаль – я стар. А был бы молод,  
Я в битву кинулся б – туда,  
Где звонче серп и выше молот,  
Где есть поэзия труда,  
Где нет насилья, принужденья, –  
Как в муравейнике лесном,  
Где труд приносит наслажденье,  
Коротким прерываясь сном...*

Это, конечно, отрывок тридцатых годов, с их «гимном труду», – но и против правды папа не идет: он и в самом деле был вечным тружеником, работал до последней минуты – и умер, поднимая выше пресловутый молот...

Он всегда интересовался политикой, читал газеты – и, естественно, многие строчки в этих тетрадках навеяны прочитанным. Хотя и в них проглядывает характер автора:

*Что там светится в тумане?  
Не ленись и погляди –  
Это призрак на аркане,  
С гегемоном впереди.  
Призрак бродит по Европе...*

Насмешка, поддразнивание – это «чекановское», это у нас в крови. «На аркане» – для рифмы, которая частенько тащит папу за собой, но образный ряд, на мой взгляд, намечен верно, да и сама попытка переосмыслить привычную символику могла бы оказаться плодотворной.

Его, однако, все время сбивает на рифмованную публицистику:

*Нужна не только перестройка,  
Нужна и сильная рука, –  
Чтобы работала надстройка,  
А не валяла дурака.  
Позавели себе кареты,  
Медали вешали на зад,  
А умиленные поэты  
В восторге ботали в набат...*

Здесь любопытна последняя строфа. Коммунистов – а точнее говоря, *власть вообще* – папа недолюбливал всю жизнь; всё, что дискредитировало начальство, повторял с упоением, Брежнев презирал, – но так вели себя многие. А вот шпильку «поэтам» вставил бы не

каждый. Сие объясняется просто: папа ненавидел лизоблюдов в творческой среде; поэт, кадящий власти, в его глазах был богоотступником.

«Демократом» он не стал, прозрел довольно скоро:

*Отцы родные, демократы,  
И либералы всех мастей,  
Вас нужно срочно сдать в солдаты  
И всыпать каждому плетей.  
В казарме прапор краснорожий, –  
С ним спорить будет не с руки, –  
На Швейка рожеею похожий  
И, как у Ржепы, кулаки.  
Он вмиг мозги любому вправит...*

Этот Ржепа, прописанный «демократам и либералам» в качестве лекарства, в нашей семье упоминался частенько, – как символ устрашения. Фамилия персонажа бессмертного гашековского творения, сами звуки ее ассоциировались, видимо, одновременно с «рожей», «ржанием» и просторечным названием задницы, слово «Ржепа» вызывало восторг и ужас. Прекрасно помню, как папа крутил головой, повторяя:

- Фельдфебель Ржепа, сокрушатель ребер! Рже-па! Это надо ж так написать!..

Есть в отцовских тетрадках и строчки, написанные не без моего влияния. После того, как я начал интересоваться своей затопленной прародиной, изводить домашних расспросами о ней, писать и публиковать стихи об этом, папа вдруг осознал: то, что произошло лично с ним, с его семьей, его поколением, – может быть *темой*. И не преминул сочинить нечто своё:

*Мне нужно очень сохраниться, –  
На десять, на пятнадцать лет,  
И лично в этом убедиться,  
Что моря Рыбинского – нет.*

*А есть земля, где, босоногий,  
В лапту жестокую играл,  
Закон ее, довольно строгий,  
Не постигая, отвергал.*

*И есть Шексна – такое диво,  
И есть Глухая, «та река»,  
И безымянная пролива  
С копной кудрявой лозняка.*

*За той проливой – дуга,  
В озера облака глядятся,  
И бесконечные стога,  
Как войско русское, теснятся.*

*И лошадей табун пасется.  
Ватага смелых удалцов  
К нему стремительно несется,  
Приняв уздечки от отцов...*



Кроме недостатка грамотности (цитируя, я все-таки правлю орфографию и пунктуацию, уж простите великодушно), стихотворные упражнения отца на корню губит «общесоветский» ранжир: папа подражает, пусть и неосознанно, ладу и строю провинциальных виршей, в изобилии публикуемых местной прессой. Так случается даже тогда, когда он пишет о своем, о том, что волнует лично его:

*Наверно, в каждой деревушке,  
В селе и редких хуторах  
Найдется по одной старушке,  
Преодолевшей смерти страх.  
Она обычно богомольна,  
Словоохотлива, добра,  
И жизнью, кажется, довольна,  
И байку тянет до утра.  
У ней почти всегда найдется  
Бутылка красного вина...*

Тема смерти его волновала, хотя самого факта ухода он, похоже, не страшился. Во всяком случае, мать не раз слышала от него, что во время приступов он думал: «хоть бы мне умереть...»

Но не только безысходность была тому причиной – помогало и «пушкинское», эпикурейское отношение к жизни. Папа жил по формуле: «Пить будем, гулять будем, а смерть придет – помирать будем...»

...собственно, меня и самого не так уж страшит невозможность уйти от неизбежного. Гораздо более волнует вопрос: не будет ли *это* (или – *после этого*) мучительно больно?

*Я не хочу и не пытаюсь  
Уйти в тот мир, где нет меня.  
Но в этом, грешном, только маюсь...*

Смерть – избавление от боли. Переносить страдание мужественно – всё труднее, душа бежит от страдания. Ради спокойствия он готов отказаться от возможной радости, даже от призрака ее:

*Мне шестьдесят, а я влюбленный.  
Но нет ответа на любовь.  
Но разум мой – не возмущенный  
И не волнует сердца кровь.  
Всё пройдено и пережито,  
Царапать душу не хочу...*

...кто она – та, которой посвящены эти безнадежно-усталые строки? Люба? Вера? Чей милый взгляд и участливый разговор бередили в нем, шестидесятилетнем больном человеке, уснувшие чувства?

Я никогда об этом не узнаю...

В его стихах еще встречаются вечерние мотивы:

*Потухло солнце за лесами  
С последней песнею дрозда.  
Над золотыми небесами*

*Беззвучно теплится звезда...*

Но всё чаще возникает ночь:

*Торжествует ночное светило,  
Незаметно, а всё же плывет.  
В чьей душе оно мысль разбудило,  
В безграничный направив полет?*

.....  
*Свет лунный, петляет дорожка...  
Как зябко безглазой спине!  
Скорей бы – лесная сторожка  
И свет в одиноком окне.  
Иду не спеша, без оглядки.  
Чу! шорох, таинственный звук...*

.....  
*Ночь, как год. В душе тревога,  
Нету сна. Гляжу в окно:  
Лунный свет и снегу много,  
А вокруг темным-темно.  
Недоступных звезд мерцанье,  
Звон будильника в шкафу...*

Он вглядывается в грядущую тьму, он гадает: а что там, за чертой?

*Какое дело мне до рая  
И до его святых ворот,  
И до того, кто там карает  
В грехах увязнувший народ?*

*Какое дело мне до ада?  
И в черной копоти котла  
Мне будет просто как награда:  
Сгореть мгновенно и дотла...*

Он отчетливо ощущает за собой путь, след, и в то же время чувствует, что впереди – новые странствия:

*Куда летишь, падучая звезда?  
Кому, зачем твой мимолетный след?*

.....  
*Снова дальняя дорога.  
Сколько их в моей судьбе!  
Подожди еще немного –  
Я навек вернусь к тебе...*

Он просит подождать, оттянуть момент ухода, и память вновь возвращает его к началу:

*Мое Березово родное,  
Шексны крутые берега,*

*Земля, трава... да всё земное!  
И заливных полей луга,  
И вы, соломенные крыши,  
Многоголосый стада шум, –  
Я вас увидел и услышал.  
Всё волновало детский ум...*

...ну, естественно, я «пристрастен», «закрываю глаза на явные недостатки», и т.д., и т.п. А вы чего хотели?

Что? Ваши отцы «тоже писали»? Что-то плохо верится. Будь оно так – у каждого из вас в красном углу, за иконой, лежала бы книжка про отца, подобная той, какую вы сейчас держите в руках, – такая же, только про вашего отца, написанная вами... Но ведь не лежит!..

Нет, господа и дамы, ничего, ни-че-го не писали ваши отцы, они только «вкалывали», «трахались» да «лопали», ясно вам?

Да и... *были ли они, отцы-то ваши, жили ли они на свете?*

Ладно, простите великодушно. Сами понимаете: это я не вам, а «им» – не помнящим родства.

Может, хоть это подействует.

Есть в рукописном наследии отца и проза. Проза жизни:

«Здравствуйте, Геннадий Федорович (извините, мы с Вами лично не знакомы). Написать Вам это письмо меня заставили обстоятельства, без Вашего участия которые не разрешить.

Излагаю суть дела.

С 1954 года я, инвалид 3 группы (травма на производстве), до 1987 года, как и положено, получал пенсию. Начислялась она мне от моего заработка; если я зарабатывал больше, то пенсию мне выплачивали не менее 50% (это мне самому пришлось видеть написанным черным по белому в личном пенсионном деле – очевидно, это было узаконено для всех инвалидов 3 группы: сколько бы инвалид ни зарабатывал, а менее 50 % назначенной пенсии он не получал).

До 1986 года я работал в Глебовской санаторно-лесной школе. Мой заработок был 120 рублей, и я получал пенсию 38 рублей, потом я уволился и поступил работать в геолого-разведочную партию. Райсобес продолжал выплачивать мне пенсию по месту жительства – 38 рублей.

Проработав два года в геолого-разведке, я заболел (ИБС), дали мне 2 группу, и с этой бумажкой я пришел в райсобес. В райсобесе инспектор-женщина (фамилии я не знаю) спросила, чего я хочу, и сказала, что для перерасчета пенсии нужна справка о заработке за два года и что она с меня высчитает 50 % той суммы, которую мне переплатили.

Я эту справку ей принес, и когда мне была начислена пенсия (согласно моего заработка, а он оказался 257 рублей, а пенсия 120 рублей), то эта инспекторша мне заявила, что я должен ей выплатить 100 %. На это я ей заявил, что она сама же говорила, что 50 %, – она мне в ответ говорит, что я не связан с сельским хозяйством и поэтому должен выплачивать 100 %.

Разговор наш имел такое продолжение: она мне – «давай половину пенсии», я ей – «а на что я буду жить?»

Инспекторша «пожалела» и порешила удерживать из пенсии 26 рублей. Спрашивает меня, сколько я должен возратить в райсобес, я ответил (из расчета 50%): рублей 400. А она мне говорит, что 800 рублей.

Таким образом, я стал получать пенсию в размере 96 рублей в месяц. Прошел год, поехал я в райсобес, обратился к заврайсобесом, – молодая женщина, фамилии не знаю, – объяснил ей ситуацию (а у меня еще там случился приступ), и она мне вот что сказала: пенсия по 3

группе у меня была назначена от 166 рублей, а я зарабатывал у геологов 257 рублей и, таким образом, пенсия не выдается.

Нетрудно из моей писанины, Геннадий Федорович, понять, что райсобесовские работники закон государственный могут поворачивать, как дышло. Прошло уже два года, а может, и больше, по моим расчетам, свою задолженность я выплатил (а может, и перевыплатил)...

Письмо не закончено. Видимо, я нашел черновик, – а беловик был отправлен по назначению, поскольку тут же, на бланке с печатью, присутствует и достойный ответ стража закона:

«Прокуратура СССР.

Прокуратура Рыбинского района Ярославской области. 28.02.90, № 100/90 щ.  
Рыбинский район, с. Глебово, ул. Новая, 15, Чеканову Ф.М.

По Вашей жалобе разъясняю Вам, что, работая в период с 9.06.86 г. по 20.06.88 г. в Рыбинской инженерно-геологической партии Московской геолого-разведочной экспедиции, вы, как инвалид III группы, получали пенсию в размере 38 руб.22 коп., которая была начислена со среднего заработка в 162 руб.18 коп.

В соответствии с п. I ст.170 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, инвалидам III группы пенсия выплачивается в таком размере, чтобы пенсия и получаемый заработок не превышали в общей сложности всего заработка, из которого была начислена пенсия, т.е. в данном случае 162 руб. 18 коп., при этом сумма пенсии выплачивается в размере 50% при условии, если заработок не превышает 120 рублей.

В геолого-разведке средняя зарплата у Вас оставила 257 руб.51 коп., и Вы не имели права получать пенсию. За весь период работы в геолого-разведке Вами было незаконно получено 876 руб.35 коп.

В соответствии с п. «Б» ст.178 вышеуказанного Положения, Комиссией по назначению пенсий при исполкоме Рыбинского районного Совета народных депутатов было вынесено решение о взыскании с Вас этой суммы с ежемесячным удержанием 20 % пенсии до погашения этой суммы (протокол Комиссии № 746 от 2.12.88 г.). К этому времени Вам был сделан перерасчет пенсии в связи с изменением группы инвалидности на 2 группу и изменением среднего заработка. Сумма ежемесячного удержания составила 24 рубля.

При проведении арифметического подсчета Вы можете убедиться, что вся сумма 876 руб.35 коп., которая Вами была получена в нарушение закона, Вами будет погашена через 36,5 мес. (3 года) после начала удержаний, которые производятся с февраля 1989 г.

Считаю Вашу жалобу необоснованной, потому что работниками районного отдела социального обеспечения в данном вопросе нарушений допущено не было.

Прокурор Рыбинского района, советник юстиции Г.Ф.Чуркин».

...я припоминаю, что папа не очень-то и расстроился, когда получил сей отлуп: не удалось доказать начальству свою правоту, ну и хрен с ним, жить ведь есть на что, по миру не ходим.

Всё-таки он счел необходимым гневно воскликнуть:

- Нет правды на земле!..

А чуть погодя, по обыкновению, добавить глубокомысленно:

- Но правды нет и выше...

Великий поэт примирил его с действительностью.

Таблетки, склянки, тетрадки... Рисунки пером: чертежи парника, вьющийся узор наличников; профили Ленина и Сталина; чье-то удивленное лицо. набросок автопортрета: мрачноватый стареющий мужчина с обиженно поджатым ртом (скорее всего, эффект «обиженности» получился из-за недостатка зубов). Куст на пригорке и наезжающий на него

паровоз. Нос лодки. Рухнувшее дерево рядом с растущим, крепким. И – птицы, птицы (в основном, совы)... Материал для психоаналитика.

А вот санаторно-курортная книжка. Цхалтубо, санаторий «Геолог», март-апрель 1987 года, палата 208. Основной диагноз – остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Отметки о приеме минеральных ванн, о грязелечебных процедурах, УВЧ...

- Там он сердце-то и испортил! – говорит мать убежденно, – на курорте-то этом. У него раньше сердце не болело. А как приехал после лечения, так и началось. Вот так вот, лечиться-то: одно лечишь, а другое калечишь...

- Это он еще у геологов работал?

- Ну да, на пилораме. Началось у него отложение солей, в бедре и в ноге при ходьбе стало болеть. А ходить-то велят вон куда – аж в Кабатово! Тут у него, на этой почве, распри с начальством начались: они его в Кабатово на работу посылают, а он идти не может, через полсотни метров у него «жаты» начинается. Полечился в нашей больнице, в Глебово, да какое тут леченье... Вот тогда ему начальник геологов выхлопотал путевку в Грузию – поезжай, лечи свои ноги. Дала я ему денег, говорю: купи мне на толкучке ковер с оленем. Он привез. И еще носочки мне из козьей шерсти купил. И кофточку – правда, немножко не такую, какую мне надо. Я его всё ругала: зачем ты всего этого накупил? Двадцать четыре дня был там... Ну, так вот – там, в этом Цхалтубо, ванны были минеральные. Они опасные, эти ванны, в них область сердца погружать нельзя – да разве Феликс Михайлович когда кого слушал? Он по шейку в эту ванну залезал! Коне-е-ечно... ему там хорошо, прия-атно... будет ли он выполнять предписания врача!.. «вот хрен вам – а не предписание!..» Так и испортил сердце. Лежал он и в Рыбинске, в кардиологии, Лидка Липатова его уговорила. Вроде, подлечили, а потом – опять...

...эту «кардиологию» я помню – сам навещал там папу.

Он вышел тогда ко мне веселый, бодрящийся, сказал, что чувствует себя неплохо, что скоро его выпишут. А у меня сжималось сердце: я осознал вдруг, что мой отец – не просто старый, а еще и серьезно больной человек. Раз кладут в больницу – значит...

А вот фотография, сделанная в Цхалтубо, – отливающее неестественной синевой цветное изображение группы людей, кучно стоящих на фоне горного пейзажа. Среди стоящих – один присевший на корточки, в дурацкой шляпенке, с лицом, сморщенным в гримасе беззубой улыбки, – мой папа...

«Вы все стойте, а я вот присяду!..»

Лучшая из оставшихся фотографий отца – та, которую я отдал потом в ателье, для портрета на памятник. Это фото делал он сам – выбирал позу, ракурс, выражение лица, сам себя снимал (с помощью автоспуска), сам проявлял, печатал, наклеивал готовый позитив на картон и обтягивал его прозрачной пленкой... С портрета глядит на зрителя симпатичный, несколько франтоватый мужчина лет сорока, в сдвинутой на лоб зимней шапке и с сигаретой в руке.

Помню, сначала мне это фото не нравилось, казалось нарочитым: зачем эта сигарета? почему в шапке? Но, приглядевшись, я понял – папа хотел видеть себя именно таким: непростым, с отчетливой особенкой, ни в коем случае не «тюхой-матюхой», за которого его подчас принимали. Шапка и сигарета стали теми деталями, которые он интуитивно использовал для подчеркивания этой особености. Хотя о главном, конечно, говорит лицо и, прежде всего, взгляд – цепкий, чуть насмешливый, одновременно и доброжелательный, и готовый к отпору, взгляд настороженный, непростой...

...этот взгляд находит меня сейчас в любом углу комнаты. То хмурится: «Опять дурью маешься?.. пиши давай!..», то улыбается, подбадривая: «Ну-ну, Женька, не трусь, не так страшен черт...»

Да, теперь я вижу, что отец был прав, когда сочинял, изобретал это свое изображение. Теперь мне понятно, что оно – точнее «не отрететированных заранее», ибо гораздо лучше говорит о папиной душе – сложной, непредсказуемой, игровой душе выдумщика...

«Выдумщик» – это звучит серьезно. Любое художественное творение человека есть миф, выдумка, все творцы – мистификаторы. И это очень хорошо. Ибо если мы будем доверять одной скучной «правде», то не узнаем главного о человеке и мире, не узнаем, какими они *хотели бы быть*, какими стали бы при других обстоятельствах... Да, стали бы!.. если бы Господь дал возможность человеку и миру всё переиграть, свернуть в сторону с открывающегося пути, – мы убедились бы в этом.

Что же такое «правда»? Случайные фотографии! Фотографии, запечатлевшие нас «не лучшими», «не полными», ущербными. Да, именно так: некрасивость правды вопиет об ее ущербности, указывает на недостаточность только смирения с правдой, одного только приятия ее, – и прямо говорит о необходимости стремиться к идеалу. Пребывающему, конечно, за пределами человеческой жизни, но – могущему быть воплощенным. Где? В творениях искусства, конечно. В «выдумке»!

Так думаю я, глядя на отцовский портрет.

Приехал Волгин. Уже с порога он начинает, по обыкновению, балагурить, травить какие-то анекдоты; голос его кощунственно громок. Мать, с одной стороны, довольна, что он приехал, – дядя Саша человек практический, толковый, от него можно ждать реальной помощи в любом деле; но с другой – раздосадована его манерой поведения, не изменившейся ни на йоту даже в этот печальный вечер.

К Волгину нужно привыкнуть. Поначалу он производит впечатление чрезвычайно наглого, бесцеремонного ухаря; привыкнув же, начинаешь ценить в нем главное – открытость, прямоту, неспособность к подлости. Человек страшно деятельный, мастер на все руки, – и плотник, и столяр, и токарь-универсал, – он пережил уже двух жен: мамину старшую сестру Шуру, и вторую, которую я никогда не видел.

Несмотря на свои почти шестьдесят лет, дядя Саша крепок, кряжист, в силе. Если бы папа был жив, то неподдельно обрадовался бы его приезду...

«Он любому радовался, – слышу я голос матери, – любому, кто приезжал. Особенно, если с бутылкой...»

Волгин привез, как и обещал, самогону и огурцов. Он тут же включается в общие хлопоты – чистит картошку, режет мясо; одновременно рассказывает бородатый анекдот.

- Слышь, – гремит он на весь дом, – старик-то пред образами молится: «Господи, укрепи и направь», а старуха-то на печи другое: «Господи, да ты только укрепи, а уж направь-то я и сама направлю...»

Он раскатисто хохочет – и мама не выдерживает.

- Саша, замолчи, – говорит она звенящим от подступающего рыдания голосом, – замолчи, а то я заплачу...

Волгин, наконец, осознает, что его поведение бестактно – и, крякнув, понижает тон. После паузы заводит подходящую к ситуации речь, – о болезни и смерти, – и мать успокаивается.

- Да!.. вот она, жизнь человечья, – приглушенно рокошет дядя Саша. – То же самое и нас всех ожидает. А что сделано?.. много ли? Построил два дома, вырастил двоих детей – и пора на тот свет... Обидно!

- Мало Феликс пожил, мало, – вздыхает мама. – Чего!.. шестьдесят два года, возраст ли это! Мог бы пожить еще лет пять... да хоть и все двадцать! Жил бы себе да жил... Это всё этот, – злобно говорит она вдруг, – Семенов этот.. У-у-у, гадина проклятая! Это он его довел. Вот ведь как: не любил он его, а именно у него на коленях и умирал... как нарочно!

- Один еврей, – начинает Волгин, – тоже умирал, слышь; собрал семейство и говорит..

Вечер длится. Часов в десять садимся за стол, мать ставит бутылку, выпиваем за упокой души Феликса Михайловича, разговариваем. За полночь в дверь стучат, я выхожу открывать – на пороге стоит высокий лысый мужик. После конфузной заминки выясняется, что это тесть Андрюхи, Николай Александрович. Я его видел раньше всего раза два – немудрено, что не признал.

Снова выпивка, разговор. Андрюхин тесть и дядя Саша вмиг находят общий язык, на «слесарной» почве. Спать им не хочется: разбирают и точат мясорубку, потом принимаются готовить котлеты.

Часа в два я ухожу спать. Мужики все еще курят и беседуют.

---

Мотоцикл простреливает насквозь гулкое утреннее село. За рулем – Сережа Вахромеев; я и еще двое мужиков – в коляске, а точнее, в деревянной тележке. Едем копать могилу.

Утро – свежее, бодрое, зеленое; день обещает быть знойным. В кладбищенской роще – комариный стон, шепот листьев, пятна света. Без перекуров и долгих приготовлений мужики приступают к работе. Земля тут и вправду «легкая», яма быстро уходит в глубину. Вскоре, однако, копать сразу в несколько лопат становится неудобно – и Баруздин залезает в яму один.

Мне, как сыну, рыть могилу нельзя. Смотрю на растущую гору суглинка, слушаю Сергея, который убежденно доказывает мне правоту буддистов.

- Как может человек умереть? – вопрошает он. – Этого ни в одной религии нет, а древние не глупей нас с вами были. Все религии говорят: человек бессмертен. И все-таки глубже всего этот вопрос разработали буддисты. У человека, говорят они, не одно, а семь тел...

Сменив уставшего Баруздина, Сергей забирается в яму по плечи, из-за горы земли его не видно. Вместе с комьями из ямы вылетают прерывистые слова-вздохи:

- ...а в тонком мире – астральное тело. Этот тонкий мир всю землю окружает, это как бы такой ореол вокруг всей планеты. Сейчас еще Феликс Михалыч туда не попал, сейчас его душа – в эфирном теле. Она встречается со «светящимся существом», просматривает свою жизнь...

- Да, – поддерживаю я разговор, – об этом у Калиновского написано...

- И Калиновский, и Моуди – это всё популярные изложения, – доносится из могилы. – А вот «Агни-Йога» и «Бардо Тёдол» – это уже серьезные труды. Вы не читали «Тибетскую книгу мертвых»? Вот там всё по дням расписано – все скитания в «тонком мире», все кармические видения...

Мужики, вместе со мной слушающие рассуждения Сергея, только головами крутят от такой учености. А сам он, видимо, рад, что нашел подходящего слушателя. Из ямы слышится:

- ...только дня через три-четыре он осознает, что он мертв... Тут-то оно и начинается, пребывание в Бардо. Духовное тело скитается там сорок девять дней, пока не найдет себе новое материнское лоно. Вообще, «Книга мертвых» трактует так, что самое лучшее – не рождаться снова, постараться остаться в том мире. Но это мало кому удается, в основном, все рождаются опять и опять. Это – Сансара, колесо рождений...

...и ни слова о Христе не слышно на месте будущего погребения, никто из копалей даже ни разу не перекрестился – словно православие никогда и не заглядывало в эти места.

Да, но разве эти люди – бездуховны? разве сам факт их присутствия здесь, их добровольной тяжелой работы – не показатель их принадлежности к тому царству человеческого единения, где нет ни эллина, ни иудея? И разве мой папа, не крещеный и не веривший в Иисуса Христа, не будет спасен?

Если – нет, то зачем мне такая вера? А если – да, если человек, не умеющий перекрестить лба, тем не менее, добр, честен, праведен, то...

«То зачем нужно христианство?» – думаю я вдруг.

И тут же поправляю сам себя: нет, наверное, именно века христианства и сформировали наш народ вот таким – некорыстным, милосердным, отзывчивым к чужой беде. А семидесятилетние гонения на русскую православную церковь уничтожили у нас – или почти уничтожили – одну лишь обрядность и прочую внешнюю атрибутику православия. По глубинной же своей сути мои соотечественники – и сейчас те же самые, какими были до Октябрьского переворота. И все эти увлечения чужими верованиями – лишь нечто временное, наносное, не затрагивающее наших душевных основ...

Могила готова – и мы садимся в траву под березой, дабы «обмыть это дело». Водка не пьянит, только теплая волна на минуту накрывает меня с головой – и, схлынув, уходит куда-то. Говорим о Феликсе Михайловиче: будь он сейчас с нами, уж непременно опрокинул бы стопочку, с удовольствием поболтал, обсудил все эти вопросы. А быть может, он и в самом деле сейчас где-то здесь, рядом? Ведь тут, на майской земле, так славно веет сейчас теплый ветер, так плавно качаются зеленые ветки, так добры и чисты грубые лица людей, только что соорудивших последний приют для оставленного душою праха. Сядь с нами, папа, подними стопку любимого яда – выпьем за твой вечный покой, за твое избавление от земных страданий...

Черный комок мелькает среди зеленых веток, остроклювое любопытное существо глядит не мигая на нашу трапезу... кыш!

Смотри-ка, она не боится, она и не думает улетать. Стоп, мужики, не будем ее пугать, не надо. Быть может, это совсем и не ворона, не только ворона... Папа-папочка, немного дал тебе Бог – ту же черную фуфайку, ту же перелетную судьбу. Что делать!.. получаем то, что заслужили. Не улетай, побудь с нами еще немного, покачиваясь на ветке и нацеливаясь круглым своим оком на кусок черного хлеба...

В последний путь... Раскаленное небо, слепящее солнце, белые клубы пыли. Натужный рев мотора, остолбенелые лица встречных, палисадники, наличники, крыши. Расплавленный слезящийся диск, черные силуэты деревьев, серые окна, лица, глаза. Каменные скульпы покойника.

Лица братьев матери – круглые, мелкоглазые, заячьи. Автохтонное население Верхневолжья, угро-финны, племя весь, – вот кто мы такие. «Обряд погребения у племени весь». Или так: «Мимика, выражающая горе, у представителей племени весь».

Завывание мотора, пыль, зной. Вот так однажды повезут и меня. Еще не скоро. А этих уже скоро. О чем они думают, качаясь в кузове грузовика и держась друг за друга на шаткой лавке?

Вот, Феликс умер... Нина одна остается. Дом, видно, продавать будет. Дом-то хороший, большой, тысяч сто пятьдесят дадут. А может, и все двести. Да что сейчас на эти деньги купишь... Рановато помер Феликс, рановато. Что делать, сердце износилось. Касьянов год. Все там будем, не минем.

Застывшие лица встречных. Кого это хоронят-то? А!.. это того мужика, у которого дом-то с птицами. Так ведь он же не больно и старый был. Больной? А-а-а... А дом-то у него хороший, большой, – продавать будут теперь, аль нет? Это жена сидит, а рядом-то сыновья, видать. Без музыки нынче хоронят – знать, дорого...



Лицо отца – холодный тесаный камень. Твердо сжаты губы, в бескровных чертах – выражение собранности и решимости. На что ты решился, папа? Я вижу – ты уже далеко от нас, далеко-далеко...

Не жмет ли тебе крестик? Я все-таки надел тебе его, уж прости, снял с себя и надел, а веревочка оказалась коротковата, сразу врезалась в шею. Прости меня, ты, может быть, был бы против, но я все-таки надел...

Последние поцелуи. Уверенная речь «представителя общественности». Стук земли о крышку гроба. Всё, как у людей.

Поминки. Люди идут и идут, не хватает места. Милые, так вы все любили папу? Дайте, я вас поцелую! У всех налито? Давайте помянем Феликса Михайловича. Валера, Сережа, Коля, спасибо вам за всё, куда бы мы без вас... выпейте!

Да, хорошая смерть, легкая смерть. Сам не мучился и других не мучил.

Нет, как же это так? Ведь я с ним совсем недавно разговаривал, он и шутил, и смеялся, как всегда... как же это?

И к каждому-то он умел подход найти, такое слово сказать, чтобы человек заинтересовался... И о политике мог поговорить, и о деле, интересно было с ним... Не плачьте, Нина Александровна, дай Бог каждому так уйти. Детей вырастили, дом у вас прекрасный...

Спасибо вам, добрые люди, что вы пришли и помогли нам. Дай вам Бог счастья за ваши добрые слова и дела, за помощь.

Вот и всё. Теперь я могу лечь навзничь и провалиться во тьму. «Поминальный обряд племени весь» завершен.

...когда я могу позволить себе напиться до бесчувствия – всегда напиваюсь. Хотя вообще-то к спиртному меня не тянет, месяцами могу не пить. Все-таки зачат я был в трезвости и выпивать начал очень поздно, это сказывается...

Совсем не пить? Но ради чего?

---

Встаю совершенно разбитый, мятый, со страшной головной болью. Долго не могу подняться с постели, вяло одеваюсь, с трудом отвечаю матери.

Время – восемь часов вечера; все, кто приходил на поминки, уже разошлись по домам, мамины родичи вместе с Андрюхой уехали на последнем автобусе. Посуда вымыта, лавки и табуретки унесены. Мать наливает мне горячего чаю – и я, мало-помалу, оживаю.

- Пошли, погуляем, – предлагаю я. – Погуляем, поговорим...

Мать соглашается.

Медленно идем вечерним селом, удаляясь от центра к лесу. Сумерки; кой-где на небе поблескивают звездочки; тепло и тихо. Мама в который раз рассказывает о подробностях папиной кончины, пытаюсь угнездить в своем сознании новость, резко меняющую ее жизнь.

- ...а Баруздин говорит: надо унести его домой. Тут у кого-то были носилки медицинские, вот на этих носилках унесли его домой, положили на крыльце. Коля говорит: надо его обмыть да одевать, а то закостенеет. Решили не мыть, – он недавно из бани, – а только обтереть мокрой тряпкой. Баруздин его раздел догола, снял с него свитер, носки, «гамашы» – он в последние годы всегда тепло одевался. А Тамара Лесовая с Толей – обтерли. Коля мне говорит: ищи белье чистое. Дала я новые трусы, майку, рубашку, достала новый серый костюм. Расческу положила в карманчик, носовой платок новый. Коля говорит: давайте его вытащим на веранду. Вынесли стол из передней комнаты и поставили на веранду, положили Феликса на него. Рот полотенцем подвязали, а то он был полуоткрыт...

Врач-то пришел только через два часа после смерти! Я ему говорю: а могла бы я спасти его? Вот если бы я что-то сделала такое, чтобы он очнулся, да еще пожил, а? А он мне

говорит: не терзайте себя. Если бы, – говорит, – его даже оживили в этот раз, он бы недолго прожил. Такие больные после реанимации живут год-два...

Ну, пришли еще люди... Галя Баруздина дозвонилась до Рыбинска, до какого-то вахтера, а тот позвонил тебе. Любе я дала все адреса, она пошла телеграммы давать. Всё делалось... Тамара Лесовая сидела со мной до твоего приезда. Потом ты приехал, пошел к Феликсу на веранду, поплакал...

На улице уже совсем темно, да и зябко – вечерняя свежесть превозмогла тепло мая. Идем с матерью по окраине села, под яркими звездами, я обнимаю ее за плечи. Какая же она маленькая и слабая!.. как же она будет без папы?

От выпитого на поминках меня всё еще пошатывает, голова прямо-таки раскалывается. Вяло слушаю мать, рассказываю сам – о том, как получил горестное известие, как спешил на вокзал, ехал в поезде, плакал в тамбуре, как бежал через ночной лес...

Возвращаемся домой, пьем чай. Дома тихо и тепло, всё на своих местах, ничего не изменилось. Да и что могло измениться? Сидим с мамой на кухне, за столом, – и говорим, говорим...

Далеко за полночь кто-то стучит в окно. Ледяная дрожь мгновенно пробегает по моему телу, я сразу трезвею. Выхожу на улицу, словно в космос; мать за мною... Кто тут?

...озаренная сбоку слабым зеленоватым светом месяца, в черной тени сарая горбится чья-то фигура.

- Дай Феликса помянуть! – глухо требует пропитой женский голос.

- Нет!.. нет, не надо ее, я ее знаю, – шепчет мать гневно, – это пьянчужка местная. Ходит, просит... иди, иди отсюда!

Фигура молча поворачивается и бредет к калитке.

- Нет, нет, стой! – кричу я отчаянно. – Сейчас, сейчас дам помянуть!..

- Не надо, не надо! – хватает мать меня за рукав.

- Ты что, – яростно шепчу я, – не дай Бог! Ни в коем случае! А вдруг это... ты что? Это Бог посылает, нельзя!

Опрометью метнувшись в избу, подскакиваю к холодильнику, наливаю стопку водки, хватаю кусок хлеба и возвращаюсь на улицу.

- Помяни, помяни папу, – со слезой говорю я. – Помяни Феликса Михайловича!

- Ничего не Бог... – ворчит мать, уступая. – Всяким подавать...

«Синюшке» охота поговорить. Долго рассказывает о своем сыне, тянущем очередной срок, то и дело благодарит меня, обдавая перегаром. Наконец, уходит восвояси – и я, облегченно вздохнув, запираю двери. Мать ворчит; но я нисколько не сомневаюсь, что это был знак от папы, своеобразная проверка. И я ее выдержал – поступил так, как непременно поступил бы он сам в подобной ситуации.

Измученный тяжким днем, ложусь на отцовскую постель. «Папа, приснись, – шепчу в темноту, – приснись мне. – Как ты там, папа? Приди ко мне, расскажи... папа, милый...»

...серый сарай-дровяник, тусклый свет из засаленного окошка; за окошком – груда бревен, на бревнах – черная собака. До собаки метров пять-шесть.

«А ведь я могу коснуться ее руками, не вставая с места», – мелькает в моей голове. Но не руки, а две гудящие, вибрирующие силы выходят из моих плеч, легко проникают сквозь стекло, движутся к собаке...

Собака исчезает. Но я уже понял, каким свойством теперь обладаю. А ну-ка, еще раз... Вон деревце растет за окном – смогу ли я заключить его ствол в кольцо моих пальцев?

И вновь мои «руки», – две вибрирующие мощные струи, – гудя, проходят сквозь невредимое стекло, и я смыкаю свои кисти вокруг тонкого ствола.

Значит, я могу... всё? И – летать?

Лежу на спине, – нет, не лежу, а лечу куда-то, головой вперед, подхваченный могучим потоком. Мое тело – конусовидный, еле слышно гудящий, вибрирующий цилиндр длиной

метра три-четыре и диаметром около метра – этакий могучий катер, послушный малейшему моему желанию.

«Ну, вперед...» – думаю я.

И стремительно возношусь, словно на качелях, – вперед и вверх, наискосок, легко проходя сквозь потолок и стропила крыши, – вперед, в ночную тьму...

И тут же ужас охватывает меня. А вдруг я не сумею остановиться и меня зашвырнет в неведомую глубину, в дальний мрак?.. Стоп!.. Назад!

Могучие качели швыряют меня обратно – сквозь темную даль, сквозь стропила и потолочные бревна... Да, я могу летать! – сквозь всё на свете, на тысячи километров, куда захочу... Что же это такое?.. кто я?

И вот опять меня несет куда-то... куда? Куда-а-а-а...

Просыпаюсь от собственного хриплого крика – и рассказываю сон дремлющей на соседней койке матери, – чтобы не забыть утром. А в голове стучит: так вот чем ты занят, папа... Ты осваиваешь новое тело, новый мир. Тебе сейчас не до нас, у тебя другие проблемы, ты родился для новой жизни...

И все-таки на мгновение ты убрал дремучую стену времени и показал мне, *как там, и что*. Спасибо, папа, теперь я знаю...

Если хоть одна из моих дочерей будет после моих похорон сильно жалеть обо мне, будет плакать и, засыпая в слезах, попросит меня *придти* – я тоже непременно это сделаю. Изловчусь, упрошу, умолю – но уберу проклятую стену и покажу дочери что-нибудь из *той* жизни... Пусть знает, что небытия – нет!

Небытия – нет, есть только боль перехода, муки нового рождения, страх перед новым, непонятным и опасным миром, в котором придется *быть*. Но ведь таких миров, быть может, мириады... Так что же – каждый раз, переходя из одного в другой, мы обречены кричать от ужаса, представляя, что падаем в бездну небытия?

Нет, – это удел *не знающих*, удел бестолочей, ничему не учащих и не желающих учиться. Брошенные в очередную судьбу, они вопят и жалуются, не умея ее принять, не умея понять, за что она им дана, за какие и чьи грехи и ошибки. А ведь интуитивно они, наверняка, чувствуют, что послужило причиной. Почувствовать очень легко: *это* – там, где больнее и труднее всего, где страшнее всего. И вот, вместо того, чтобы, смирившись с *данной*, исходной позицией, двинуться по грязной и тяжелой дороге вперед, к свету, – они опускают руки и ждут смерти. Но смерти нет, просто их *отбрасывает* всё дальше и дальше во мрак, унижение и боль...

Мне ли кидать в них камни? Я ведь и сам только сейчас, ближе к сорока годам, прихожу к этим мыслям – и даже до сей поры сомневаюсь в них. Но моя жизнь, чем дальше, тем чаще, полнится подтверждениями именно этих идей, – идей бессмертия души, идей существования греха и воздаяния за грех, – и как же не поверить опыту жизни? Чему же тогда верить – чьим-то словам, книгам? Но ведь это – чужой опыт! А верить можно только своему...

Жизнь идет; на другой день я уезжаю к себе в Ярославль, оставив маму на попечение Андрея, взявшего двухнедельный отпуск. И – урывками, между еженедельными поездками по своим коммерческим делам и выполнением роли няньки при полутороговой Дарье, начинаю писать эту повесть. Со смертью отца во мне рухнула какая-то преграда, не позволявшая ранее взяться за это, и я пишу – вечерами, ночами, по утрам, в любую свободную минуту. Пишу, рву написанное, снова пишу, снова рву, переписываю...

Постепенно устанавливается стиль – вот этот, петляющий, то и дело убегающий в сторону, – стиль реки. Через какое-то время я осознаю жанр будущего сочинения – это будет нечто в духе «Старомодной истории» Магды Сабо или катаевского «Кладбища в Скулянах», – но другое, со своими акцентами и своей сверхзадачей.

И я пишу, пишу...

Длится лето 1992 года; справляем девятый день, потом сороковой; мать начинает привыкать к одиночеству. Сначала мы строим планы немедленной продажи дома и переезда матери в Ярославль, ко мне, – но вскоре отказываемся от них. Причин много: в разгаре гайдаровская «шоковая терапия», деньги обесцениваются с каждым днем; моя жена не в восторге от совместного житья со свекровью. А главное – мама осознает, что жить в городе не так уж и сладко, особенно в нынешнее сумасшедшее время. Она решает пока что остаться в Глебове – тем более, что и без переезда у нее забот полон рот: дом, огород, куры...

В каждый мой приезд к матери мы ходим с ней на могилу – поливаем цветы, обмахиваем тенёта с венков, подолгу сидим у низкой оградки, разговариваем, вспоминаем. Я выпиваю стопку водки, другую ставлю на папин холмик. Здесь, среди берез, – благодать: тишина, покой, зелень. Единственное неудобство – комары, но мы уже к ним притерпелись.

Боль утраты поутихла, уступив место печальному смирению, – и всё чаще в нашу печаль вторгаются неожиданные улыбки, ибо папа «начал шутки шутить». В высокой траве рядом с оградкой мы обнаруживаем вдруг три замечательных белых гриба: один стоит отдельно – это, конечно, «мама Нина», а два рядышком, поменьше – это «Женя с Андрюшей». Такая игра бытовала в нашей семье лет тридцать тому назад, когда мы с Андрюхой были маленькими, – и так напомнить о ней мог только папа...

В другой раз он «шуткует» не столь ласково: после того, как мать, чуть-чуть выпив и разговорившись, начинает, прибирая могилу, вспоминать какие-то обиды, нанесенные ей покойным, она сильно ударяется ногой об ограду.

- А не критикуй, – говорит она сама себе, морщась от боли, – вот тебе, старая... Да, здорово, Феликс Михайлович, ты мне... – она ищет слово поточнее и, наконец, заканчивает фразу редким в ее устах матюжком.

Я помалкиваю, хотя внутренне согласен с отцом: ругать покойного, да еще на его могиле, – грех.

Папа начинает сниться маме. Сразу после похорон, дня через три, она видит сон-мгновение: папа молча сидит на стуле возле ее кровати. Это видение кладет начало длинной череде встреч. За день до сорокового дня он снится ей сидящим за кухонным столом, на своем любимом месте.

- Я не умер, я жив, – слышит она. – А то, что случилось, – это сон...

Затем загробные встречи идут полосой. То она едет с ним на каком-то пароходе: он спит прямо на палубе, и так плохо, бедно одет, что у нее сжимается сердце от жалости и стыда. Пароход подходит к пристани; «Дементьево, Дементьево», – говорят все кругом, и им тоже надо сходить на берег. То вдруг он снится ей в зимней одежде, хотя на дворе еще теплая осень, и она недоумевает, к чему бы это, – а через несколько дней выпадает ранний снег и наступают холода.

Порой она даже не видит его, только ощущает его присутствие... Постепенно она привыкает к мысли, что он действительно где-то здесь, рядом, – и это ощущение переносится ею в явь.

- Ну-ко, Феликс, давай помогай! – бросает она в пространство, когда что-то не ладится. А затем, попозже, тянет удовлетворенно:

- Ну, во-о-от... это дело мы с тобой одолели, Феликс Михайлович...

В мои сны отец приходит редко. В начале июля я вижу его впервые после похорон: он сидит за столом вместе со своим отцом – моим дедом Михаилом Андреевичем; они о чем-то спорят. Я пытаюсь принять участие в их разговоре, но они не разрешают, гонят меня, – и я просыпаюсь. «Покойники тебя к себе не пускают, – замечает моя жена, – это хороший сон».

А 3 августа, в полдень, я ложусь отдохнуть на любимый диван и, мгновенно забывшись, вижу летнее Глебово и старую родительскую квартиру при санаторно-лесной школе...

...стою в темных дверях; дверь на улицу открыта настежь, дверь в дом – тоже; так мы спасаемся от невыносимой жары. Мама – дома, в комнате; я разговариваю с ней, одновременно краем глаза наблюдая за окнами, которые мне видно через дверной проем.

- Так папа-то что – не придет? – спрашиваю я.

- Да не знаю, – откликается мать, – может, и нет...

Но тут же, заметив в одном из окошек мелькнувшую фигуру, я восклицаю:

- Да вон он идет!

В сени входит папа – загорелый, довольно бодрый, хотя и усталый. Я обнимаю его, целую, – и во все глаза гляжу на него. Так он вернулся?

Он высвобождается из моих объятий – и проходит в дом, на кухню; я – за ним. Изо всех сил всматриваюсь в его черты: какой он? Тот же самый, или?.. Он ли это?

Он, кажется, тот же самый... но вдруг, прямо на глазах, начинает меняться. Причем изменение это выражается во всё более усиливающемся сходстве со мной самим – таким, каким я себя привык видеть в зеркале: те же глаза, нос, рыжая борода...

Двумя холодными руками папа берет меня за горло – но не душит, а только держит. И вдруг начинает по-бабьи, с мамиными интонациями, жаловаться мне:

- Да вот, милый ты мой, шутка ли... от такой-то ерунды... и не болел ведь уж очень-то сильно, а вот, поди ж ты...

Он жалуется мне на то, что он умер, он говорит, что ему хотелось бы еще пожить...

И тут я просыпаюсь. Голова моя лежит на диванном валике, в чрезвычайно неудобном положении, шея болит. Рассказываю сон жене, пытаюсь сразу же, по ходу дела, растолковать увиденное. Согласно Артемидору, воскресающие покойники сулят тревоги и убытки. Это-то ладно, к тревогам и убыткам нам не привыкать, но вот что может означать «узнавание в покойнике себя», «выслушивание жалоб покойника»? Этого у Артемидора я не нахожу...

Хотя разгадка так проста!

Порой меня самого удивляет та пристальность, с какой я всматриваюсь то в беглые эпизоды дневной жизни, то в смутные ночные видения. Неужели я и впрямь уверен, что всё происходящее со мной наяву и во сне имеет еще один, тайный смысл, который надо разгадывать?

Не знаю... Но уже давно не могу отделаться от ощущения, что моя жизнь, вся целиком, от рождения до смерти, уже где-то, кем-то сочинена – и я обречен проживать ее, перемещаясь со страницы на страницу неведомого мне текста.

Но если это и впрямь так, если моя судьба придумана неким «творцом», то... то ведь в ней не должно быть случайностей! Такие мастера не допускают погрешностей: каждый шорох травы здесь обязан быть наполнен смыслом, каждое висящее на стене ружье должно однажды выстрелить, все реплики и эпизоды приговорены перемигиваться между собой, любая картинка – что-то символизировать...

Если это так, если моя жизнь – не «случайная фотография», а произведение великого Автора, – тогда я прав: в нее стоит взглядываться до рези в глазах, вслушиваться до боли в ушах.

А если нет?

Всё осталось на своем месте – там, где было, и где пребудет. То же майское солнце льет предвечерний ласковый свет на избы и проулки села Глебово, тот же молодой алкоголик подходит, пошатываясь, к дому номер пятнадцать на улице Новой и, грузно навалившись на теплый штaketник, окликает хлопчущего в огороде хозяина. Сейчас тот пошлет его подальше и, высоко подняв тяжелую кувалду, что есть мочи грохнет ею по железной трубе. И еще раз. И еще... Но у меня больше нет сил смотреть на это.

Мне надо плыть... Я не знаю, что ждет меня впереди, что за сила влечет меня в путь, у меня шаткая опора – всего лишь пачка листов бумаги, исписанных моим торопливым

почерком. Когда-то, много лет тому назад, Господь надоумил меня потратить один из летних отпусков на запись воспоминаний отца и матери, я истомил, измучил родителей ежевечерним «залезанием в душу», но, в конце концов, последние скобы были вбиты – и маленький плотик закачался на волнах. Теперь я могу шагнуть на него и, оттолкнувшись от берега, поплыть по беззвездной реке. Он ждал меня всё это время, он сухой и прочный, мой плот, – он должен выдержать!

Да, кругом тьма. Я лишен способности видеть, я слеп. По запаху ветра и вкусу воды невозможно ориентироваться; кроме плота, реки и собственного тела, мне нечего осязать; остается только слух. Я должен научиться слышать этот мир.

Что я стану делать, когда шест перестанет доставать до дна, когда незримый водоворот закружит мою опору и я перестану понимать, в какой стороне берег? Мели, перекаты, бревна-топляки, встречные суда... тысяча препятствий может возникнуть на моем пути!

Но мне пора. Прощай, твердый берег, прощай, оранжевое окошко, горящее во тьме. Тихо плещет вода под ногами, пружинят бревна, сырой воздух холодит лицо. В моих руках – длинная жердь, я упираюсь ею в дно... поехали...

Резкий толчок! – и, потеряв равновесие, я едва удерживаюсь на ногах. Плотик тяжелеет, оседает – я чувствую, что вода доходит до щиколоток.

Это – папа. Он поплывет со мной.

1993-2022